

Горбунова, Е. «Огонь!.. Огонь!..» : человек на войне [Текст] : [повесть Ю. Бондарева «Батальоны просят огня»] / Е. Горбунова // Горбунова, Е. Юрий Бондарев : очерк творчества / Е. Горбунова. – Москва : Сов. Россия, 1989. - С. 38-61.

В один прекрасный день 1957 года Юрий Бондарев, как принято говорить в таких случаях, проснулся знаменитым писателем. О его повести «Батальоны просят огня», напечатанной в журнале «Молодая гвардия», заговорила «вся Москва». Критик Михаил Кузнецов рассказывает, что разговоры «шли тогда повсеместно — в редакциях, библиотеках, просто за обеденным столом, среди профессионалов-литераторов и читателей».

Эта повесть об Отечественной войне, о непосильном и трагическом подвиге солдат возникла, по признанию автора, не сразу. Бондарев, как мы знаем, был убежден в своей неподготовленности к большой литературной форме и сомневался, сможет ли он, «обыкновенный смертный», вернувшийся с фронта офицер, прибавить хоть что-нибудь к тому, что уже сказали о войне другие писатели.

Замысел «Батальонов» возник в темную июльскую ночь в двух тысячах километрах от Москвы, на середине любимой реки Бондарева — Белой. Полный умиротворяющего спокойствия, вслушивался он в осторожные ночные звуки, в редкие капли воды с весел. За лесами над городом розовело далекое зарево, пахло острой речной сыростью, доносились тихие голоса рыбаков с соседних лодок. Но вот где-то на берегу взвыла буксующая машина, долетел «пулеметный» треск трактора, и сразу перед глазами встало другое зарево, высота, занятая противником, орудия, стреляные гильзы. Представилось, будто вот-вот взвоятся сигнальные ракеты и начнется переправа туда, на другой берег Днепра, где натужно гудят немецкие танки.

Оказывается, память цепко хранила то, чего уже нет, что прошло. Достаточно было одного ассоциативного соприкосновения с прошлым и все вернулось, ожило. В разбуженном сознании возникли лица, обстановка, та особенная, ни с чем не сравнимая сосредоточенность ожидания, которая охватывает человека перед началом боя.

Писатель не раз замечал, что порой самая простая случайность дает толчок воображению, мысли, фантазии, неожиданно и радикально переламинает только что владевшее им настроение. Пронзительно заскрежест трамвай на повороте, высекая фиолетовую искру, запахнет сырой землей, вдруг напомнившей смерть на безымянной высоте, послышится где-то прощальный гудок паровоза, пахнёт нефтяным запахом шпал, встанут перед глазами вечерние облака, багрово подсвеченные снизу закатом, протянутся по горизонту дымы, вершины деревьев покажутся вырезанными черным по красному — и сразу словно толкнет в грудь...

«Еще нет цельной картины, есть лишь ощущения, горячие, как тогда», но они уже живут своей жизнью, ищут выхода вовне.

И начинаешь вспоминать, сравнивать, спрашивать себя: а где это было, когда? Не на той ли маленькой железнодорожной станции, которую только что разбомбили немецкие самолеты и описанием которой

открывается повесть «Батальоны просят огня»? Или, может быть, в ночь накануне форсирования Днепра этими батальонами?

Так и в ту июльскую ночь на реке Белой окончательно окрепло желание Бондарева рассказать о войне, о людях, которых хорошо знал, любил, помнил, вместе с кем шагал по размытым дождями или пыльным, растоптанным и разъезженным фронтовым дорогам от безбрежно заснеженных и окоченелых степей Сталинграда, через Украину и Польшу, к Карпатам. Вместе толкали они плечом увязающие в грязи орудия, стояли на прямой наводке впереди пехоты, ели пропахшие гарью и немецким толом помидоры, делились последним табаком...

Повесть «Батальоны просят огня» начиналась «сразу» — без предваряющих пояснений или сколько-нибудь развернутой экспозиции. Сразу сложилась ситуация, чреватая действием, объединяющая общей драматической судьбой персонажей повести. Их характеристика с самого начала давалась заостренно-отчетливо, выявляя наиболее броские черты. Именно так представляли на первых же страницах повести те, с кем будет связано развитие сквозного действия «Батальонов» — полковник Иверзев, командир полка Гуляев, его адъютант, «легкий и спокойный, как погожий летний день», Жорка Витьковский, комбат Ермаков.

В первом же абзаце автор сообщал, что «бомбежка длилась минут сорок. В черном до зенита небе, неуклюже выстраиваясь, с тугим гулом уходили немецкие самолеты. Они шли низко над лесами на запад, в сторону мутно-красного шара солнца, которое, казалось, пульсировало в клубящейся мгле.

Все горело, рвалось, трещало на путях, и там, где еще недавно стояла за пакгаузом старая закопченная водокачка, теперь среди рельсов, дымясь, чернела гора обугленных кирпичей; клочья горячего пепла опадали в нагретом воздухе».

Как видим, картина дана рельефно и точно, без комментария, который, в сущности, не требуется. Событие, чреватое драматическими последствиями, подано намеренно просто, как нечто обыденное на фронте. И хотя случилась беда — немцы разбомбили эшелон с вооружением и боеприпасами, предназначенными для предстоящей важной операции, — автор сообщает об этом почти протокольно:

«То, что горело сейчас на этой приднепровской станции, лопалось, взрывалось, трещало и малиновыми молниями вылетало из вагонов, и то, что было накрыто на платформах тлеющими чехлами, — все это уже значилось словно бы собственностью Гуляева, все это прибыло в армию и должно было поступить в дивизию, в его полк и поддерживать в готовящемся прорыве.

Все погибало, пропадало в огне, обугливалось, стреляло без цели...»

Стреляло без цели! Вот деталь, концентрирующая в себе драматизм сложившейся ситуации, с ходу приобщая нас к происходящему и к реакции главных героев на случившееся. Значение этой детали не исчерпывается информацией о том, что гибель боеприпасов и вооружения подорвет успех запланированной операции. Здесь дана расстановка людей, которым предстоит участвовать в конфликте, нравственно-эстетическое содержание которого резко обострено специфически сложившимися обстоятельствами.

Метрах в пятидесяти от перрона, под прикрытием каменных стен уцелевшего вокзала, стояла группа офицеров, доносились приглушенные голоса. «В середине этой толпы на голову выделялся своим высоким ростом командир дивизии Иверзев, молодой румяный полковник в распахнутом стального цвета плаще с новыми полевыми погонями. Одна щека его была краснее другой; синие глаза источали презрение и злость».

Серый плащ и такой же китель, какие редко носили на фронте офицеры переднего края, румяное молодое лицо, контрастирующее с усталыми, тусклыми лицами невысыпающихся фронтовых командиров, синие глаза, источающие холодное презрение, запомнятся. Входя в резкое противоречие с обстановкой и людьми, воюющими уже не первый год, они произведут неблагоприятное впечатление. Из резерва, подумает об Иверзеве Борис Ермаков, увидев его чистенькое обмундирование и свежее, хорошо выбритое лицо. Сейчас уедет обратно в дивизию, мелькнет в голове Гуляева, сделал разнос, дал указания, можно убраться подальше от передовой.

Рядом с безукоризненно подтянутым, презрительно-гневым Иверзевым особенно невыигрышно выглядел не только Гуляев, грузный, с утомленным лицом и обожженной шеей, в смятой шинели, но и другие офицеры, собравшиеся сейчас возле станции. «Вы погубили все! Па-адлец! Вы понимаете, что вы наделали? В-вы!.. Понимаете?..» — кричал Иверзев своим повелительным и беспощадным голосом.

Стоявший молча человек коротко, неловко поднял руку, как бы заслоняясь от ожидаемого удара. И тогда полковник Гуляев увидел «белое, дрожавшее дряблыми складками лицо пожилого - майора, начальника тыла дивизии, его опухшие от бессонной ночи веки, седые взлохмаченные волосы. Бросились в глаза неопрятный, мешковатый китель, висевший на округлых плечах, нечистый подворотничок, грязь, прилипшая к помятому майорскому погону... Втянув голову в плечи, начальник тыла дивизии тупо смотрел Иверзеву в грудь».

Офицеры отводили глаза; Гуляев, и сам только что мысленно проклиная начальника тыла, теперь оглядывал его «с тем болезненно-сострадательным выражением, с каким глядят на мучимое животное».

Чувство неловкости и неприязни к Иверзеву нарастало уже не только из-за внешнего контраста, столь очевидного, но из-за оскорбительного по тону разговора со старым майором, в суматохе бомбежки потерявшим где-то свою фуражку и почти готовым расплакаться. Его седые, давно не стриженные волосы разметало ветром, и вся эта беззащитная неряшливость вызывала теперь не столько гнев и злость, сколько стыдливое чувство жалости.

Но вот «все, что можно было сделать в создавшихся обстоятельствах, было сделано. Устало догорали загнанные в тупик вагоны; с последним, как бы неохотным треском запоздало рвались снаряды. Пожар утих. И только теперь стало видно, что стоял теплый, погожий день припозднившегося бабьего лета. Чистое, сияющее небо со стеклянно высокой синевой развернулось над лесной станцией. И только на западе почти неуловимо светились в бездонной его глубине беззвучные зенитные разрывы».

Контраст уже с самого начала создает ту особую атмосферу и

настроение, когда по-особому и тоже контрастно воспримутся и неожиданное появление на станции капитана Ермакова, числившегося в госпитале, и его противоположность иверзевскому облику, манере держать себя с людьми. Оба они сильные, красивые люди, но как противоположна их красота, какие разноречивые чувства вызывает она!

Бондарев не скрывает этой противоположности и даже, кажется, делает многое, чтобы ее оттенить.

Живой, раскованный, полный внутренней энергии Борис Ермаков со свойственной ему удивительной контактностью, ослепительной открытой улыбкой, невольно привлекающей людей, — общий любимец, храбрый, «везучий» офицер. Все ему дается легко - и подбитые танки, и ордена, и любовь женщин, симпатия и дружба товарищей.

Ничто в этом молодом офицере, одетом в выгоревшую гимнастерку с темными следами от портупей и с заштопанным рукавом, не напомнит о холодной ухоженности самоуверенного Иверзева. Борис, правда, тоже не лишен уверенности в себе, но это его свойство, в противоположность Иверzeву, скорее располагает, чем настораживает и охлаждает.

Иверзев красив статью, румянцем здорового человека, ярко-синими глазами, которые, как промелькнет в голове у Бориса, наверное, нравятся женщинам. Но все в нем, начиная от безукоризненно белого подворотничка и кончая холеными белыми руками с тонкими, крепко сжатыми в «железный кулачок» пальцами, изобличает человека, еще не нюхавшего пороха, рассчитанно-властного, хорошо представляющего, к чему он стремится. «Волевой командир», как называли таких одно время.

Борис же с его смуглой цыганской красотой прост естественной, ненаигранной простотой, которая свойственна людям, знающим себе цену, дорожающим своим достоинством и репутацией, но полностью лишенным чванства и кичливости.

«Здорово, полковник Гуляев!» — радостно и дружелюбно приветствовал он командира полка после уставного «разрешите обратиться?».— «Откуда тебя черти принесли?»— проговорил, затоптавшись, Гуляев, сначала нахмурился, потом засмеялся, грубовато стиснул капитана в объятиях и сейчас же отстранил его...»

Теперь они оба, скинув горячие сапоги с усталых ног, расстегнувшись, лежали в станционном скверике под облетевшей яблоней. Полковник, хмурясь, сбоку рассматривал Бориса, его исхудалое, побледневшее лицо, прямые брови, черные волосы, упавшие на висок.

«— Никак раньше времени прибежал? Что, не терпелось, терпежу не было?.. Я спрашиваю, почему прибежал?..»

Борис потянулся к яблоне, сорвал голую веточку, внимательно осмотрел ее, сказал:

— Вот, оторвал эту ветку — и она погибла. Верно? Ладно, оставим лирику. Как там моя батарея, жива?»

Сцена, если вдуматься, символическая, и чем дальше, тем лучше мы будем понимать ее смысл. Но пока она воспринимается как эпизод. Потому еще, может быть, что Бондарев редко и осторожно пользуется символикой. Хотя рисуемые им картины и образы в силу своей внутренней насыщенности сплошь и рядом обретают значение, которое Горький

называл «реалистическим символом».

Такую именно функцию обретет в дальнейшем и веточка, о которой Гуляев скажет: «Оторванная ветка! Ска-жи-те! Философ, пороть тебя некому!» Проговорит это тем же грубовато-решительным тоном, каким предупреждал Бориса — «и без шуток... Будешь грудью, по-дурацки, по-ослиному пули ловить, храбрость показывать — к чертовой бабушке спишу в запасной полк! И баста! Спишу — и баста!».

Не думаю, чтобы уже здесь, на первых страницах, слова Гуляева об «ослиной храбрости» были произнесены с далеко идущим прицелом. Но в конце повести, когда завершится отчаянный бросок батальона на вражеский дзот, они, возможно, припомнятся. Как припомнится и «голая веточка», сорванная Борисом.

Пока же читатель отнесется к словам полковника как к законному и обоснованному предупреждению старшего командира, не таящего своего «откровенного беспокойства, не предусмотренного никаким уставом». Гуляев и Ермаков знали друг друга со Сталинграда. «Был полковник одинок, вдов, бездетен, и он точно бы видел в Ермакове свою молодость и многое прощал ему, как это иногда бывает у немало поживших и не совсем счастливых одиноких людей».

Расстановка действующих лиц вполне определенная и чреватая конфликтом, как бы персонифицированным в образах Иверзева и Ермакова. Иные критики придерживались именно такого взгляда, не замечая, что тем самым упрощается весь смысл повести. В этом мы убедимся в ходе анализа событий, героями которых станут Иверзев и Ермаков.

Свою первую военную повесть Юрий Бондарев писал в состоянии полной одержимости, с таким чувством, будто возвращаются в жизнь те, «о которых никто, кроме меня, ничего не знает и которых знаю только я, и только я должен, обязан о них рассказать все».

Не вслушиваясь более в сдавленное перешептывание оружейных расчетов в черноте ночи, слившейся в одно целое воду и небо, Ермаков улавливал «тихие всплески отплывающих от надежной земли плотов». В эти минуты, когда начиналась переправа, все не относящееся к ней не существовало уже для Бориса. Им владела одна горячая, азартная, захватывающая мысль: «...зацепиться в тишине за берег, роты рассыпать по лесу, разведчиков к высотке, взять ее...»

И вдруг в момент предельного напряжения ночное безмолвие, насыщенное притаившимися шорохами и шепотом, грубо нарушилось, изменилась вся гамма звуков и красок, оглушительно взорвалась и осветилась ночная мгла. «Торопливо взлетая, ракеты смешались, змеисто взвиваясь в небе и в воде. Все замерцало: свет — потемки, свет — потемки... Тот берег ожил, зашевелился, тени деревьев то стремительно падали в Днепр, то разгонялись светом; пулеметные очереди мелькали вокруг плотов, вонзаясь в воду, на плотках разом беспорядочно задрожали всплески автоматов, и встречные трассы малиновым веером махнули по тому берегу; потом гулко и сухо забили винтовки. Плотно покрывая эти звуки, с тяжким звоном распускались на воде мины. И следом за ними, туго

сбрасывая высоту, сочно лопнул над Днепром бризантный, тяжело зашлепало по воде, по песку, по стволам деревьев. Наполз едкий запах тола...»

И еще:

«Сносимые течением плоты наискосок подгребали к правобережью, и с них все время кричали что-то, очевидно, в сторону того плота, что кружил безвольно на быстрине. Столбы воды вплотную вырастали возле него один за другим, слабый, неразборчивый крик донесся оттуда... На нем дыбом поднялись бревна и люди, повозки, метнувшиеся лошади отвесно скатились в воду с одного бока. Визгливое предсмертное ржание лошадей прорезалось сквозь свист мин.

— Накрыло! Чего ж они, а? — громко сказал Жорка...»

Несколько часов назад все выглядело здесь по-другому и другие чувства теснились в груди капитана Ермакова. Глядя сквозь увеличительное приближение бинокля на «печальную и тихую на закате водяную гладь Днепра», он испытывал странную, глухую тоску, повеявшую на него от лесов, потемневших на том берегу перед вечером. Предчувствие беды невольно и безотчетно закрадывалось в сердце. Это предчувствие вернулось с новой силой после того, как, форсировав Днепр, баальон Бульбанюка без единого выстрела входил в оставленную немцами Ново-Михайловку. В этой неожиданной тишине и безлюдье вместо ожидаемого сопротивления противника было что-то тягостное.

Осенний, холодящий лунный свет придавал всему какую-то мертвящую оцепенелость, вселял недоброе предчувствие, тревогу, сомнения. Угрюмо и тускло блестели влажные стволы голых осин. «Печалью, ощутимой утратой несло от шелестящих листьев, от холодной накаленной луны, от черных теней заброшенной дороги. Куда вело все? Где был конец этой осенней ночи?»

Не сказав друг другу ни слова, Бульбанюк и Ермаков миновали кусты, увлажненные, нагие. Лес кончился. «И впереди везде был этот беспокоящий лунный свет: в пустынных полях, в извилах латунно неподвижной реки, за черными стогами, на деревянном мостке и в мертвых стеклах тихой деревни, разбросанной за рекой. Не слышно было ни лая собак, ни скрипа колодцев, не пахло дымом в студеном осеннем воздухе. Все оцепенело, молчало под луной, и только стаяй одичалых мышей полз ветер по стерне».

Предчувствие не обманет Бориса: два батальона из полка Гуляева, переброшенные с большими потерями на высокий правый берег Днепра («черный, глухой, — казалось, затаенный, — он возвышался угрюмой стеной до самых звезд»), будут методично и беспощадно истреблены противником. Батальоны погибнут и потому, что операция с самого начала не была обеспечена должным образом, и главное — о чем так и не узнают погибшие — потому, что за сутки непрерывного боя на захваченном пятачке резко изменится общая обстановка: в дивизию поступит приказ срочно передислоцироваться на другой участок фронта, где теперь решено наносить главный удар. Командир дивизии Иверзев, выполняя приказ, снимет полки и артиллерию. Тщетно будут взлетать и гаснуть в черном небе ракеты, передающие условный сигнал «батальоны просят огня».

Обещанной огневой поддержки они не получают. И это усугубит трагическое осознание катастрофы.

В изображаемых с поразительным реализмом обстоятельствах короткой жизни и безжалостной гибели героев повести Бондарева скорбное чувство владеет Борисом, автором и нами.

Этой страшной трагедии заглянет в глаза Борис Ермаков на исходе боя: на фоне зловещего заката над чернеющим лесом, в дрожащем, вибрирующем, налитом гулом пространстве неба заметит он совсем беззвучные серые тени штурмовиков, выбрасывающих острые вспышки пулеметов. «Наши ИЛы!» — пронесется о его мозгу. «И готовый плакать и проклинать это помогающее ему небо», Борис закричит «страшным криком бессилия и тоски: «Поздно!.. Поздно!..»

Как личную непоправимую утрату переносит читатель прощание со смертельно раненым майором Бульбанюком, остающимся беспомощно лежать в траншее, смерть братьев-близнецов Березкиных, которых Ермаков за минувшие сутки так и не научился различать, и теперь тихо «заснувших», прикинув лицом к родной земле, конец до бешенства отчаянного храбреца Орлова, от которого осталась только его офицерская фуражка, как чаша, наполненная сейчас водой, и смерть, казалось, бессмертного Жорки Витьковского, того самого беспечного, не знающего страха Жорки, который во тьме и черных облаках вздымаемой земли, меняя пулеметные ленты, упорно искал взглядом знакомую фигуру Бориса Ермакова, был предан ему до обожания, считал, что за жизнь капитана отвечает даже сейчас.

Вместе с Борисом, пытавшимся вывести из окружения горстку уцелевших солдат, прошел Жорка путь к спасительным берегам Днепра, путь, оказавшийся для него последним.

Жил Жорка и до войны, и на фронте нехитро и бездумно, как птица, меньше всего заботился о себе. Только узнав, что мать умерла от истощения в эвакуации, Жорка первый раз почувствовал себя растерянным, непримиримо разозленным на жену и написал ей, что любви между ними нет и не было и чтоб она не смела слать ему писем. «Но письма-треугольнички приходили, все чаще приходили, и на них дрожащим почерком было выведено: «т. Витьковскому Жоре», — а он рвал их, не читая.

На войне все пули и осколки летели мимо Жоркиной белокурой головы, и он не задумывался, убьют его или ранят, воевать было интересно и легко...» Вот и в этом бою, окруженный со всех сторон сжимающимся кольцом танков, лежа на бруствере, Жорка испытывал жгучие толчки в сердце, когда видел, как врезались огненные трассы его пулемета в бегущих немцев, как они падали и оставались лежать. Он радовался, что убивал людей, которые хотели убить его и всех, кто был рядом в траншее, что убивал немцев из их же, у них же захваченного оружия, послушного в Жоркиных руках.

Теперь Жорка, натолкнувшись в кустах на свою смерть, «лежал лицом вниз, прикинув грудью к земле, в странном объятии раскинув руки. Борис охватил его за обмякшие плечи, осторожно положил его на спину, назвал по имени с открытой и ненужной сейчас нежностью. Жорка, постанывая, еще

дышал жарко и часто, и Борис, прикоснувшись на его груди к чему-то горячему, вязкому и влажному, подумал, что все кончено с белокурый, отчаянным, веселым Жоркой...».

К спасительному берегу Днепра Борис вышел один.

«Один он шел по непроницаемо черному лесу в дремотном шорохе капель... Он был один-единственный из всего батальона, прорвавшийся сюда сквозь заслон танков на берегу. С ним были только сумка лейтенанта Ерошина, сумка майора Бульбанюка, документы и ордена братьев Березкиных, документы и ордена Жорки». Их, эти сумки и ордена, предъявит он как улики обвинения, вернувшись в дивизию.

Прежде Борис был убежден, что любое чувство можно подавить в себе. Но сейчас он не мог этого сделать и не пытался. Память его, «не угасая даже в мгновения забытья, была его мукой и наказанием». «Почему люди так боятся смерти? — думал он. — Да, смерть — это пустота и одиночество. Вечное одиночество. Я командовал батальоном — и остался один. Так разве это не смерть? Так зачем я еще живу, когда все погибли? Я один?..» Ермакову пришла в голову мысль убить себя — в оправдание перед самим собою, перед людьми. Он «почувствовал зависть к Бульбанюку, у которого не было другого выхода». Дрожа от злости и ненависти, с верой в то, что он не уйдет отсюда живым, Борис пошел навстречу огненным нитям пуль и на голоса, звучащие где-то совсем рядом.

Повесть Бондарева, в сущности, есть рассказ об этом яростном, трагическом бое. Истерзанные, с каждым часом редееющие батальоны до конца не переставали надеяться на поддержку дивизии; они боролись, не хотели умирать и не верили в свою очевидную гибель, «как не верит в преждевременную смерть все здоровое, что обладает живым дыханием». Но единственный оставшийся в живых офицер Борис Ермаков, принявший на себя командование батальоном, понимал, что исход предрешен, что они отрезаны, окружены немецкими танками, артиллерией, пехотой.

Один из танков был уже на расстоянии тридцати метров от Ермакова, «со скрежетом подминая, разутюживая бруствер... Танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входили в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улице среди домов. Перед ними в сторону траншеи бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. А овсяное поле, дальняя опушка леса, окраина деревни — все чернело, вздымаясь разрывами, и небо дрожало от грубых, басовитых струн. И воздух везде шуршал и колыхался под низкими облаками. И капал мелкий дождь, как пыль. И был, оказывается, закат за высотой, багрово-кровавая щель светилась, сплюснутая тучами над лесами».

Смерть так и не смилоствилась над Борисом. Он вернулся в дивизию. Часовой не сразу узнал капитана, а когда узнал, «не отрываясь глядел, как он, худой, весь в грязи, в изодранной шинели, обвешанный двумя полевыми сумками, шел по двору к хате».

В пустой горнице, где не было уже ни связистов, ни связных штаба, полковник Гуляев спал, сидя за столом. Борис стоял перед ним, «враждебный, незнакомо-чужой, губы стиснуты, воспаленные глаза непримиримо прищурены, и только рука, словно успокаивая что-то, гладила

под шинелью левую сторону груди: боль у сердца, что появилась тогда, в лесу, когда он понял, что судьба наказала его памятью и ответственностью, не утихала, обливала холодной тоской».

Не отвечая на вопросы Гуляева, Борис спросил через силу.

«— Значит, Иверзев... знал положение в батальоне?..

Полковник, насупясь, неопределенно ответил:

— Так сложилась обстановка...»

Отказавшись от дальнейшего разговора, Борис протянул Гуляеву сумку с документами Бульбанюка и братьев Березкиных, ордена Жорки. «Документы Ерошина я сам передам в артполк», — проговорил он.

Капитан Ермаков знал, что такое приказ, и все равно не мог примириться с тем, что дивизия снялась без единого выстрела, бросив батальоны на произвол немецких танков. Перед его глазами вставала фигура Иверзева, сутки назад разъяснявшего задачу батальонов: «Любой ценой форсировать Днепр на правом фланге обороны... Завязав бой в районе Ново-Михайловки и Белохатки, батальоны дают - знать по рации — «Дайте огня», в случае хорошей видимости — четыре красные ракеты. По этому сигналу дивизия всеми орудийными стволами поддерживает батальоны...»

Тогда никто из присутствующих не задавал вопросов, промолчал и Гуляев, знавший уже о потерях орудий в батарее. Каждый из этих давно воевавших пехотных и артиллерийских офицеров хорошо понимал: «то, что легко и, казалось, просто планируется в штабах, нестерпимо трудно оборачивается в деле». Но такого оборота, какой получился на этот раз, все же не предполагали.

Сегодня, когда Ермаков снова ехал в штаб дивизии, все в его душе клокотало и горечь душила при мысли, что батальоны, попросту говоря, бросили, предали, что гибель их безжалостна и напрасна.

Уже поздно вечером вместе с Гуляевым въезжал он в Новополие, где теперь расположился штаб дивизии. От низких ноябрьских туч, клубящихся над сосновым бором, от шумящих в этих тучах высоких сосен, от песчаной дороги среди глухих и темных хат веяло запахом дождя.

Борис, всю дорогу молчавший, собирал оставшиеся силы, пытаюсь обрести душевное равновесие, так нужное ему в предстоящем разговоре с Иверзевым. «Но этого равновесия не было... после вчерашней ночи... все резко сместилось в душе, и он ничего не мог забыть...»

За палисадником, впритирку к которому остановился «виллис» Гуляева, отблескивали черные стекла высокой хаты, в которой располагался Иверзев, недавно вернувшийся с передовой. К нему в этот день приехала жена, и адъютант, немного робея перед устрашающим видом Бориса, объяснил, что есть приказание «тревожить только в случае пакета. Но я сейчас, минуточку...».

В доме возникло движение, за стеклом скользнула тень адъютанта, и вскоре послышался полнозвучный, свежий голос Иверзева. «Капитан... Капитан Ермаков?» — воскликнул полковник, увидев Бориса. От его властного румяного лица веяло непоколебимым здоровьем, голос звучал сочно и уверенно, глаза блестели настороженно-вопросительно. «Откуда вы?.. Привели батальон?»

При этом вопросе Бориса покинули остатки благоразумия, которого добивался от него Гуляев, которое хотел сохранить в себе он сам. «Да, я привел батальон, товарищ полковник, — проговорил он, быстро подымаясь на крыльцо. — Я привел батальон... в составе пяти человек, в числе которых один офицер. Но меня не удивляет эта цифра, товарищ полковник! И вас, наверное, тоже. Батальон дрался до последнего патрона, хотя вы, товарищ полковник, мало чем помогли нам...»

Поймав умный, предупреждающий взгляд Гуляева, Иверзев, уже готовый было взорваться, как-то разом потух, потускнел властный блеск в его глазах. Отдав несколько распоряжений Гуляеву относительно прибывшего в дивизию пополнения, «пристально и странно глядя мимо Бориса и словно забыв о нем», Иверзев заговорил ровным, металлическим голосом. Он предложил Ермакову написать подробную докладную об обстоятельствах гибели батальона.

В голове Бориса проносились сбивчивые, лихорадочно возбужденные мысли: «Что он сказал — пополнение? Он сказал так, будто давно знал и надеялся на пополнение? Да, да, конечно, разбитый полк будет сформирован. Да, дадут технику, дадут людей. Что ему до того, что застрелился раненый Бульбанюк, погибли Ерошин, Жорка, братья Березкины... Докладную о них?..»

— Простите, товарищ полковник, — сказал Борис не в силах сдержать себя, — вы надеетесь, что моя докладная воскресит батальон?..

Он выговорил это и будто оглох от своего голоса, доносившегося до него как из тумана, и, в ту секунду отчетливо понимая и чувствуя, что то, что он скажет сейчас, будет ему стоить очень дорого, и только слыша удары сердца, договорил, разъединяя слова:

— А мы там... под Ново-Михайловкой думали не о пополнении и докладных... О дивизии, о вас думали, товарищ полковник. А вы сухарь, и я не могу считать вас человеком и офицером!

— Что-о?..— Иверзев сделал движение к Борису, в его раскосившихся глазах, затемневших на бледном лице, выразился мгновенный гнев, а пальцы правой руки с силой сжались в кулак, ударили по перилам. — Замолчать! Под суд отдам! Щенок!.. Под суд!..»

Отказавшегося принести извинения Бориса Ермакова в эту же ночь арестовали.

Встреча с высоким, худым, белобрысым майором и сопровождающими его двумя солдатами с автоматами несколько остудила бушующие чувства Ермакова. «Тусклым голосом» майор, лицо которого было знакомо Борису, произнес: «Вы арестованы, капитан Ермаков. Сдайте оружие». По «бесцветному тону», каким были сказаны эти слова, Борис безошибочно понял все.

«— Вам? Сдать? Оружие? — спросил Борис, бледнея, и, усмехнувшись, расправил ремень, привычно оттянутый тяжестью пистолета. — Вам? Сдать?»

— Ваше оружие!

Майор подошел к Борису, неторопливым жестом протянул руку ладонью вверх. Борис посмотрел на эту ладонь, резко поднял глаза на майора, — встречный, холодный блеск глаз будто физически проник в его

зрачки.

— Если мой арест связан с Иверзевым, то все имеет значение. Так, значит, вам оружие?

Он стал замедленно расстегивать кобуру.

— Не делайте глупости, капитан Ермаков! — предупредил майор настороженным тоном.

Борис вынул пистолет, взглянул на него быстрым, что-то решающим взглядом и снова помедлил немного.

— Ладно. Я уже сделал одну глупость, — сказал он и с насмешливым спокойствием прибавил: — Вот мое оружие. Пойдемте. Я готов».

Борис не мог простить Иверзева. Он продолжал испытывать то, о чем сказал Гуляеву: «Думаю, что есть такие, которые надеются: Россия огромна, людей много. Что там, важно ли, погибла сотня-другая людей!» На что Гуляев после раздумчивой паузы ответил: «Держать всегда надо себя, в руках держать. — Потом, опустив глаза, договорил: — Ты офицер и должен понять: кровь батальона не пролита даром. Иначе, голубушка, дышать нельзя!»

Но ведь еще вчера в окруженной Ново-Михайловке у Ермакова был очень похожий разговор со старым пулеметчиком.

«Как же дивизия-то?.. Или впустую все?» — насмешливо спросил пулеметчик, отряхивая землю с пилотки.

«Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя, значит, не впустую. Родину не защищают впустую», — спокойно, очень спокойно ответил тогда Борис, хотя уже точно знал, что дивизия не отзывается на сигнальные ракеты и в наступление, по-видимому, не перейдет.

Так развернулась тугая спираль антитетичных аргументов, уже не однажды обсужденных и прочувствованных персонажами, напряглись противоречия, столкнулись доводы логики и чувства. Тут приоткрылась внутренняя сторона конфликта, которая обретала свою полноту в движении характеров.

Иверзев, «бледный, словно обрюзгший сразу», ходил по комнате, «сжимая за спиной дрожащие пальцы». Молчаливая затаенность, «смешанное чувство своей *вины* и своей *правоты*», — «*гнетуще* действовали» на него. Он понимал, что за этим артиллерийским «офицером стояла *своя правда ответственности* за гибель батальона; за ним же, Иверзевым, стояла еще большая *правда ответственности* за успех всей операции по взятию Днепрова. Но эта, казалось бы, последовательная логика не давала успокоения.

Иверзеву было хорошо известно, что офицеры не любили его, однако никогда, даже сейчас, это его не беспокоило. «Он считал, что не обязан внушать людям любовь к себе, а был обязан *заставлять* подчиненных выполнять *свою волю*. И поэтому он не мог простить капитана Ермакова».

Заставлять! Не тут ли скрывалось зерно противоречия, выводившего конфликт между двумя боевыми командирами — Ермаковым и Иверзевым — в сферу нравственно-этической проблематики? Может быть, разница их характеров имела в повести не только субъективное значение и объясняла, почему одного из них в дивизии «любили» и всё «прощали», а другого «не любили» и не хотели «прощать»? Ведь по Уставу боевой службы и по

законам войны Иверзев действует правильно. Ну, а по законам социалистической гуманности и совести, может быть, можно действовать и иначе?

Кто знает, чужды ли Иверзеву подобные сомнения?

Имелось, однако, еще одно обстоятельство, не дававшее покоя командиру дивизии: никто в штабе и в батальонах не знал, что, разговаривая с командующим армией, Иверзев не сказал всего об уничтоженном во время бомбежки эшелоне с боеприпасами, об огневой необеспеченности батальонов, переброшенных на правобережный плацдарм. «В донесениях из штаба дивизии Иверзева неоднократно сообщалось, что плацдарм этот прочно и героически держится, перечислялось количество немецких контратак, количество подбитых танков и орудий, число убитых гитлеровских солдат и офицеров».

Обстоятельство, без сомнения отягчающее поступок Иверзева. И тем не менее, вводя этот мотив, крайне невыгодно характеризующий полковника, Бондарев не поддается искушению упростить коллизию, не торопится представить антипатичного ему персонажа просто холодным, не вполне морально чистоплотным карьеристом.

Развертывая перед читателем безжалостную диалектику командирского долга и совести на войне, Бондарев не ставит перед собой задачи очернить или обелить Иверзева. Нетрудно почувствовать, как несимпатичен Иверзев автору и как усугубляется положение его неискренностью. Под вопросом оказывается теперь уже не только военная целесообразность приказа полковника, но и его порядочность. Обвинить его в сложившейся ситуации проще всего. Но Бондарев не торопится это сделать, показывая сложность и трудность принимаемых на фронте решений, на каждом шагу чреватых трагическими последствиями. В этом мы убеждаемся еще раз в конце повести «Батальоны просят огня», когда писатель испытывает Иверзева в экстремальных обстоятельствах.

Но ведь та же необходимость выбора между военной целесообразностью и гуманностью поставит в крайнее положение капитана Новикова в «Последних залпах», генерала Бессонова и лейтенанта Дроздовского в «Горячем снеге», лейтенанта Княжко в «Береге». О чем говорит подобная повторяемость коллизии в творчестве Юрия Бондарева? О ее чрезвычайной сложности, надо думать. Не случайно ведь всякий раз писатель находит способ обнаружить новые грани проблемы, глубже высветить ее трагическую диалектику. Да, именно трагическую и потому неподдающуюся элементарному разделению на черное и белое, неразрешимую путем арифметических правил сложения и вычитания.

Другой вопрос, в какой мере удастся художественно выразить эту трагическую сложность в «Батальонах». Возможно, тут не все получилось так, как было задумано. Иначе почему же возникли критические замечания и претензии к автору? А может быть, и критики не всегда вникали в сложность новаторского для тех лет нашей литературной жизни замысла, тяготели к шаблонной расстановке сил в конфликте?

Тем более необходимо внимательнее всмотреться в драматическую коллизию повести, в процесс психологической кристаллизации характеров.

Нельзя, например, не заметить, что автор повести дважды

возвращается к одной и той же ситуации: первый раз — в разговоре Иверзева с Гуляевым о судьбе батальонов, переброшенных на правый берег Днепра и теперь без поддержки дерущихся в окружении, — и второй раз — в его же разговоре с командующим армией на ту же тему.

Та самая трудность положения и драматизм принимаемых решений, которые показали кое-кому в критике выражением «несбалансированности» авторского отношения к Иверзеву, в этих двух разговорах предстают как жестокая диалектика войны. Объективный смысл этой диалектики подтверждается, в частности, тем, что трагедия, глубоко потрясшая Ермакова, не остается без последствий для Иверзева.

Гуляеву, подавленно молчащему, Иверзев скажет: «Вся дивизия снимается и перебрасывается севернее Днепра... Батальонам Бульбанюка и Максимова не отходить, держаться там, где они ведут бой». — «Но батальоны вступили в бой, товарищ полковник... просят огня... кто будет поддерживать Бульбанюка и Максимова?» — находит в себе силы возразить Гуляев, разозленный безапелляционной самоуверенностью Иверзева и утивно-беспомощным молчанием начштаба Савельева.

«О чем вы, полковник? Ей-богу! Вы не первый день в армии! — холодно проговорил Иверзев, в синих глазах его затвердел льдистый блеск, который объяснил Гуляеву, что для командира дивизии все бесповоротно решено. — Мне не нужно вам уточнять, что дивизию перебрасывают по приказу командующего армией. И повторяю: действия двух батальонов по-прежнему носят серьезный отвлекающий характер. Батальоны должны создать у немцев впечатление, что мы по-прежнему активизируем силы южнее города, именно на участке Ново-Михайловки и Белохатки... Любыми средствами передайте батальонам: держаться, до последнего лежаться!»

Покрывшийся багровыми пятнами, сдерживая одышку, Гуляев вышел. Он понимал, что теперь судьба батальонов зависит не от него и даже не от Иверзева, «а от какой-то всезнающей, высшей силы, которая управляла и Иверзевым, и им, полковником Гуляевым, и его людьми».

Но Гуляев и остальные не знали, что этому тяжелому разговору предшествовал другой.

Приказ о перегруппировке дивизии Иверзев получил три часа назад, когда было уже известно, «что батальоны начали бой и просят огня, и на какую-то долю секунды он с *тревогой* испытал холод под ложечкой и *мление в ногах*».

Возвращаясь из штаба армии в дивизию, Иверзев «все время думал о батальоне Бульбанюка, с которым не было связи по радию, и о неполном комплекте боеприпасов» у переправившихся на тот берег. Его тревожило, что накануне, в докладе о разгроме эшелона, он сделал упор на то, что лично присутствовал на станции, видел, как сильно пострадала материальная часть других дивизий, и потому не просил боеприпасов из резерва.

Получая новые указания о передислокации, он подавил в себе желание сказать генералу, в каком тяжелом положении оказались батальоны, что с Бульбанюком потеряна связь, что именно теперь, после нового приказа, он не сможет поддержать батальоны всей силой огня, как было задумано прежде. «И хотя он *мучился* тем, что не попросил снарядов

из резерва, не попросил дополнительных огневых средств, он *понимал*, что и это не решало положения. Он должен был перебросить артполк на северный плацдарм», а значит, батальонам так или иначе предстояло держаться насмерть своими огневыми средствами. «Этого требовали сложившиеся обстоятельства».

Окончательно поняв это, Иверзев остановил машину и пересел на сиденье рядом с шофером уже с тем «холодным, непроницаемым лицом, с тем самым выражением надменной непреклонности, какое видели подчиненные и которое вызывало у них неприятное к нему чувство». О том, что Иверзев «мучился», оценивая последствия новых распоряжений, испытывал свою личную вину перед батальонами, никто из окружающих не догадывался. Они увидели его таким, каким привыкли видеть, и недолюбливали такого, каким видели.

На следующее утро началось наступление на Днепров, и командир дивизии вслед за политрабатником Алексеевым приехал на КП гуляевского полка. Обычно румяное лицо его на этот раз было покрыто молочной белизной возбуждения, глаза блестели горячим блеском, улыбались, плащ был вольно распахнут, и Гуляеву странно было видеть налипшую на рукаве его окопную грязь.

Хорошо начавшаяся атака была неожиданно задержана огнем двух немецких дзотов. Их пулеметы работали четко, и ничем не защищенный на открытой местности батальон Стрельцова отползал обратно в траншею. Артиллеристы, прибывшие из пополнения, вели по дзотам неприцельный огонь. Взбешенный бессилием и медлительностью батальона, Гуляев вдруг сказал, «ненавидяще косясь на заострившееся лицо Иверзева:

— Капитана Ермакова бы сюда! Вот кого бы сюда, товарищ полковник! А Ермаков в кутузке сидит! Самое время!»

«Иверзев шагнул к Гуляеву, ноздри его раздувались, две волевые складки углубились у рта.

— Разглагольствуете, а батальон лежит. Весь батальон лежит! Двух дзотов испугались? Вперед! Все испортите! Мы первые должны ворваться в город! Иначе — грош нам цена! Грош цена...»

И, не дождавшись, пока Алексеев свяжется с артиллерией, Иверзев закричал: «А ну! Автомат мне!.. Автомат мне!..» И, схватив чей-то прислоненный к стене окопа автомат, «ощутил в себе силу, злость и уверенность в том, что именно сам подымет сейчас залегший батальон».

Иверзев, надо думать, помнил, что поступать так командиру дивизии глупо и не положено по Уставу, но он, стиснув автомат, быстро пошел по ходу сообщения с той «готовностью и яростной верой, которые возникают только в моменты непреклонной, слепой решимости». Мгновенно взмокший не от дождя, а от жаркого пота, он мысленно повторял: «Только успех, успех!.. Неудача — дивизии не простят ничего!.. Только успех! Только успех!..»

Вся артиллерия, что стояла на участке наступления полка, теперь была прямой наводкой по этим двум дзотам, и от разрывов и вздыбленной земли ничего не было видно. Бежавший впереди батальона Иверзев упал метрах в пятидесяти от дзота, и было неясно, убит он или ранен.

«Да, я его не любил, — подумал сейчас Гуляев. — Иверзев был слишком не прост, но я хорошо понимаю, почему он сам повел батальон в атаку. Очень хорошо понимаю...»

Иверзев был только ранен, и присутствующие не могли не заметить перемены, происшедшей в нем за это короткое время. Вернувшись в полк, он выстроил на опушке соснового леса первый батальон. Без фуражки, в распахнутом плаще, замазанном глиной, комдив стремительно шел вдоль строя, прижимая к груди руку в побуревших от крови бинтах. Обнимая солдат одною рукой, он крепко целовал их. И когда приблизился к Алексееву, обойдя весь строй, «глаза его были странно опущены».

«— Составить списки солдат, — сказал он сдавленным голосом. — Весь батальон наградить. Всех! До одного солдата!»

Но, как бы почувствовав, что Алексейев что-то замалчивает, произнес с раздражением:

«— Ну что ж, говорите!.. Что вы обо всем думаете?.. Говорите!..»

— Я бы лично мог вас простить, матери убитых — не знаю, — сказал Алексейев как можно спокойней. — Я ненавижу кровь, товарищ полковник, хотя это и война.

— Мы взяли Днепров, — охрипло выговорил Иверзев. — Мы взяли Днепров!..» — и замолчал, не закончив, неподвижно глядя себе под ноги.

Позднее, когда командир дивизии уже сидел в машине, подписав наградные списки, начальник штаба Савельев почему-то шепотом заметил:

«— Мне кажется, вы забыли несколько фамилий.

— Кого?

— Бульбанюка, Орлова и Максимова».

На этих фамилиях, вписанных Алексеевым, задержался хмурый взгляд Иверзева, а потом стремительным, бегущим почерком он дописал: «Посмертно. За взятие Днепра. Ордена Красного Знамени». Отдавая список, он произнес сдавленным голосом: «Припишите капитана Ермакова».

Откинувшись на сиденье, Иверзев закрыл глаза, и тут Алексейев «вдруг заметил его задрожавшую щеку и потом услышал шепот, еле различимый, срывающийся:

— Если бы я мог... Если бы я мог...»

Ни Алексейев, ни Савельев не смотрели на него, стесняясь этого жутко, болезненно прозвучавшего голоса, и лишь шофер, испуганно скосившись на командира дивизии, увидел незнакомое, страдающее лицо, то лицо, которое привык видеть беспощадно-властным. И было страшно, что оно кривилось, но слез не было.

В этот день Иверзев стал военным человеком. Не по должности или званию, а по сути.

Можно было иметь военную специальность и занимать военную должность и все же оставаться не военным. Военным человеком в подлинном смысле слова становился рано или поздно на фронте каждый, но каждый по-своему, пройдя через свое особое испытание, как бы заново формирующее всю психическую структуру.

Это, по-видимому, понял Иверзев, когда на бегу твердил: «Так вот это как!.. Так вот это как!»

В те минуты он постигал нечто ему не свойственное, но до крайности необходимое и обязательное. Он не превращался от этого в совсем хорошего или совсем плохого. Эти определения в данном случае просто неуместны. Иверзев вел себя в критической ситуации как Иверзев, с присущим ему тщеславию и другими неприятными чертами своего характера. Не случайно его догматизм обернулся безрассудством. Но не будь этого безрассудства, комдив, возможно, еще долго не понял бы главного — цены, которой покупается победа, ничем не восполнимой ценности каждой отдельной жизни на войне. Новый Иверзев не превратился в Гуляева или Ермакова, но, наверное, научился лучше понимать командиров подобного типа, умеющих и желающих воевать малой кровью.